

Изящная словесность

Станислав Снытко

Из книги «История прозы в описаниях Земли»

Вретище для дикобраза

Идущий на поправку приговорен к выздоровлению. Болезнь, служившая организирующим ядром его дней, оставляет в наследство апатию и неуклюжую надменность: он думает, что возвышается над собой, но все же кажется себе угловатым и уже не готов полагаться на человечество. Будто давая инструкцию заблудившемуся курьеру, он описывает текущее местопребывание: надеть водолазный костюм, забраться в корзину аэростата, приземлиться на вулкане, пробежать сквозь строй швейцарцев, нырнуть под ледяную корку, соскочить в Бресте с подножки вагона, в другом Бресте — заскочить... Словом, добраться нелегко. Иногда он вставал с постели за водой (сразу кружилась голова) и формулировал какой-нибудь вопрос вслух: например, какова его идентичность? Чопорный восточноевропейский лунатик с труднопроизносимым именем? Кем он точно не был после болезни, так это номадом, поскольку номад не боится утратить дом, а, наоборот, — рискует обрести постоянную крышу над головой против собственного желания. Одно время, знакомясь с местными, он рассказывал сочиненные им самим анекдоты о польском тезке, чтобы немного оживить small talk, но местные не улавливали его самоиронию, хлопали глазами и безжалостно улыбались. В день своего выздоровления он заметил, что человек, обитавший под окном в старой «Вольво», засобирался в путь: житель машины доставал свои вещи из салона и сваливал в железную супермаркетовскую телегу, готовясь двинуться с этим транспортом на поиски чего-то нового. С торжественной брезгливостью рыцарь телеги извлекал на свет коллекцию упаковочных материалов — пластиковых бутылок, алюминиевых банок, картонного лома, — спрессованных в легкие брикеты, в созвездия отбросов. Отныне счетчики бензозаправок не властны над маршрутом рыцаря. Куда же он направится? У какой помойки сделает привал, чтобы подкрепить силы, вернется ли в машину? Как бы то ни было, он шарахнул дверцей своей крепости

и двинулся нога за ногу на поиски лучшей участи. Глядя бездомному вслед, выздоравливающий сравнил свои любимые скрупулезные и затейливые романы, с которыми он таскался по самолетам и съемным комнатам, с теми драгоценными отбросами, без которых бездомный не мог уйти на промысел. По существу же он не имел права уподобить себя ни бездомному, ни даже самому себе времен здоровья. О привилегия не валиться на кровать от усталости, проделав по комнате пару-тройку шагов (полуразложившийся шерстяной ковер), привилегия в любое время дня и ночи залить кипятком рамен (электрический чайник с вышедшим из строя поплавком), привилегия не гадать о политико-эпидемической обстановке в мире (универсальный адаптер), привилегия мыслить время как поток разветвляющихся возможностей (блокнот с набросками текстов), привилегия *торчать*, как наркоман, от старинного текста, а не ломать голову над инструкцией к таблеткам («Анатомия меланхолии» Бертона), — таков список привилегий идущего на поправку, которому предстоит объединить эти разрозненные вещи в прообраз нового дома (убежища, местобитания, лачуги). После этих мыслей прошла неделя или две, когда он выбрался в магазин за углом купить риса — и вдруг застыл посреди квартала, на полпути к цели, сам не понимая, отчего уставился в земляной прогал между тротуаром и дорогой. Машин, зданий, деревьев, города и окружающих холмов больше не существовало; раскаленные, перегретые связи с внешним миром рухнули с окончанием болезни, и вот перед ним в свете абсолютной безотносительности, немоты и атрофии открывался пролет моста Золотые Ворота, с которых лишь очень немногим, прыгнув вниз, удавалось выжить. Вода под Золотыми Воротами тверже бетона. Характер нового безразличия таков, — догадывался он, стоя над прогалом, — что его можно принять за одно из тех банальных состояний, которые трудно отличить от истинной патологии. Так больные синдромом Клейна — Левина не демонстрируют никаких симптомов, за исключением одного: много спят. Но что значит «много»? *Ты должен переизобрести календарь*, — вот о чем предупреждала эта омерзительная в своей беспредельности непричастность к миру, и если он внял этому предупреждению, то надо что-нибудь изменить. Для начала *пылесосить по воскресеньям*. Но имеется ли в квартирке пылесос? Когда в последний раз было воскресенье? — Он понятия не имел.

Разговор без собеседников

Выздоровливающий ложился, представляя себя в лихорадке, и тогда снова мог тайком понаблюдать за любым местом, насколько угодно далеким; он переносился на мексиканскую границу, даря себе возможность раствориться в одиночестве — вдоль границ оно становится безграничным. По ту сторону всех этих застав располагалось царство чужих идентичностей, чья суверенность сплетена из раздетых самоназывающих «я», бормочущих без пощады о самости; но на стороне выздоравливающего дозволено лишь уползать, взрыхляя рассохшуюся мусорную пыль, перекатывая в карманах кварцевые обмылки. Поработать лопастями рук, разгрести ветки на дне сумерек и выдавить собственным телом гнездо — убежище без признаков жизни, переждать темное время суток, а на рассвете отступать, как всегда, вокруг собственной оси, к сердцу предметов. Примостившись за столом, он переворачивал маски,

будто страницы Плиния, и никак не мог перестать их переворачивать, — но своего лица под этими масками не встретил. Выздоровливающий вконец продрог, решил заглянуть в Африку, но из «Религии врача» Томаса Брауна он усвоил: *Мы заключаем внутри себя то, что разыскиваем вовне: все сокровища Африки — внутри нас*. Сомнений нет, на каждую эпифанию найдется свой трюизм, но по какому приговору он совершал теперь этот королевский выезд на магазинной телеге сквозь аркады библиотек с учеными обезьянами в чернильных шкурах, это кругосветное топтание на месте? Пора вздремнуть, но мысли бездомны — кроме черепа им некуда пойти. Каждую ночь он представлял землетрясение, подземные толчки и обломки деревянных домов, ползающих один на другой, — катастрофа убаюкивала его лучше всякой колыбельной. Покой и ужас больше не перечили друг другу, они жили как двое ближайших соседей, примирившихся после вечной ссоры, *закрывших глаза друг на друга*. Выздоровливающий догадывался, что у всех остальных было так же, ведь до сих пор никто не осознавал настоящих масштабов происходящего: все пряталось либо в отрицание, уговаривая себя, что *ничего такого* не происходит, просто вращается тихонечко счетчик смертей — временное дополнение к воде, газу, электричеству, интернету, где-то далеко, где все коммунальные стены сливаются в одну непреодолимо высокую Великую стену, по ту сторону которой уютно жужжат барабанчики с цифрами; либо, как выздоравливающий, пряталось в гипертрофию своей личной — на самом деле смехотворной — трагикомедии домашнего ареста. Для большинства, в том числе для выздоравливающего, этих смертей не существовало, будто речь шла о естественном отборе и его арифметических погрешностях. Зажженный фитиль прикинулся обычной веревкой, и он двумя пальцами расщепляет самые твердые узлы мнимой веревки, вьющейся вокруг его тела: это было во сне, только что. Ошибка совершается всеми, у нее нет субъекта, спросить «чья это ошибка?» все равно что объявить кровообращение интеллектуальной собственностью обезьяны. Выздоровливающий не ошибся — скорее, он допустил просчет. Разумеется, он мог бежать из своей книжной лачуги, но даже не спрашивал себя *куда*. Лачуга-панцирь, скорлупа Колумбова яйца, под которой для выздоравливающего зрело определение *просчета* в отличие от *ошибки*. Первое отличие уже названо, оно приснилось: ошибку совершают все, просчет — кто-нибудь один (например, тот, кто принял горящий фитиль за обыкновенную веревку). Ошибка есть внешний сбой, единичный парадокс, беззащитный за пределами правил; просчет же — «законопослушный» элемент, не ограничивающийся импульсивным нарушением нормы. Просчет подчиняется соотношению сил, заданному извне, однако с этим арифметическим алиби он обладает, в отличие от ошибки, неограниченным лимитом выхода из-под законов. Сделать ошибку значит выступить как эксцентрик, колеблющийся в пределах своего репертуара; допустить просчет значит действовать как подмастерье, как лощман, конструирующий астролябию из мусора. Просчет возможен всегда, какими бы естественными ни казались правила. Открытие Американского континента вместо Индии было типичным просчетом, — убаюкивал себя выздоравливающий, но его колыбельная звучала отголоском чего-то давно известного, в прежние времена и под другим небом прочитанного, быть может у Бретона.

Путешествие в Чили

Сопротивление воздуха, отсекаемого лопастью самолета, глубоко в стене перерастает в звук дыхания лунатика. Открыв глаза, он свешивает голову и, глядя вниз, следит за мухой, рисующей зигзаги над полом. Рядом валяются его пожитки. А внутри здания шепчет газ, под крышей с железной трубой и наверху в виде домика, из которого вдоль земной поверхности тянется пар. Там, внизу, спуск в тоннель заслонен ромбообразными ячейками складной сетки, и цветочная пыльца размазана по кафельной облицовке. Сверкая поручнями, автобус перемахнул остановку (Пиночет ненавидел рельсовый транспорт). Карабинеры зажмурились, он нацарапал кованым гвоздем имя Мельмота, перепрыгнул балюстраду и очутился в подземке. Здесь все было желтым, и его лицо пожелтело. Какой-то лепреккон или пигмей — бородатый, в черном пальто и цилиндре — делал шестифутовые скачки по платформе. Он был единственным существом на целой станции, не считая лунатика. Среди этих скачков были такие, за которыми выздоравливающий (он же лунатик) не успевал следить. Из дальнего угла лепреккон пересекал станцию полностью, в один шаг, выныривая у самого плеча выздоравливающего: чем ближе, тем дальше. Но выздоравливающий привык к искривлению масштабов и перестал замечать выходы. Страхами он утеплял свой панцирь. Тогда прыжки укоротились, лепреккон скомкался в шарик, а выздоравливающий проснулся. — Проснувшись, он принес себе поздравления с выздоровлением. Закрытые границы продержали его в данной стране, с книгами на постели, гораздо дольше, чем он представлял. Дневник этих месяцев казался ему непрерывной реминисценцией, и он спотыкался об чужие книги, чуть только пробовал написать о себе. В своей меланхолии он терялся среди миллиардов других меланхоликов, запечатанных в комнатах от Алеутских островов до Антананариву. Воздушные шары и вулканы, переговариваясь друг с другом, используют шелест природного газа как *lingua franca*, — прочел выздоравливающий по губам. Вдоль дверного наличника, пытаясь спрятаться в щель, метался крохотный паук, но ни одно отверстие его не впускало. Сквозь толщу воды на берег карабкались первые земноводные. К остановке причалил троллейбус, и на бетон чайна-гауна ступила нога Дидро. Подняв голову, выздоравливающий соединил звезды ломаными линиями, и ему почудилось, будто в полостях ливневых стоков бубнят невидимые суфлеры. «Разве это меланхолия, когда в нее погружаются целые континенты?» — донеслось оттуда. Он был историком без памяти на числа; он помнил любое происшествие в мелочах, но порядок следования мелочей разлетелся фейерверком цветных осколков, и даже то, что имело место сегодня, уже было для него состоявшимся невесть когда анекдотом. По существу, он ведал не обобщениями о прошлом, а коллекционированием осколков дня, перевалившего за экватор, и каждый осколок был предметом его монографического исследования. Он любил просыпаться вечером, когда вещи открывались в умеренном свете, и, тщательно вымыв руки, ощупывал фетиши своего романтического арсенала, где теплились образцы неточного смысла, иллюстрации просчетов и дорожные заметки эскапистов. *Scale jumping*. Он читал про такое у географических теоретиков, но бросил их прижимистые выдумки в Сиенрепе, когда уходил из временного дома по дышащим рыбам. Дорога была завалена живой рыбой, выпавшей утром вместе с дождем. Он разгребал себе путь

ногами, как через сугроб, но рыбы оказались тяжелыми, будто книги теоретиков, которых он только что бросил, поэтому ему пришлось шагать по рыбам, но как можно аккуратнее, чтобы не повредить рыб и не мешать местным жителям, уже начинавшим растаскивать живую мостовую по домашним прудам.

Робинзон и Вуц

Глядя в зеркало на органы речи, никогда не увидишь тех, чьи имена произносятся; а все же сказанные подобным образом слова до того вещественны, что их легче будет рассовать по карманам, нежели отыскать денотаты. Сама по себе задача раздобывания денотатов есть лишь древняя, как сон, попытка изобретения велосипеда из подручных материалов, а при таком подходе важны уже не результаты эксперимента, а инструменты и способы его выполнения. Так, из опыта с препарированием вкусового рецептора овцы под микроскопом Монтескье сделал вывод о прямой зависимости между холодным климатом Англии и флегматичным характером англичан. Но в достижении подобных результатов принципы строгой учености сулят гораздо меньше, чем маниакальная преданность эмпирической миниатюре, детальности осязаемого мира, который романисты вслед за древними греками часто изображают в форме острова. Все прочее относится к области бытовой магии и ритуального фольклора, тем более изумительного на сегодняшний, постиндустриальный взгляд, чем яснее прилагающаяся к делу инструкция. Один из современников Дефо для определения точного времени (а значит, и координат) на корабле предложил использовать симпатический порошок. Никакого герметизма в этом рецепте не заметно, потребуется только снабдить судно перед выходом из гавани раненой собакой, а остальное сделает надежный наблюдатель на берегу при помощи стандартных часов и повязки, взятой с собачьей раны: точно раз в час он будет окунает повязку в раствор симпатического порошка, и в это мгновение собака на борту прогавкает точное время. Ни часов, ни календарей среди вещей, взятых Робинзоном Крузо с затонувшего корабля, как известно, не было — он изготовил календарь самостоятельно, воткнув в землю палку для насечек, каждая из которых обозначала день, но эта палка не помешала ему сбиться и потерять счет уже в первый год на острове, так что он понятия не имел, понедельник теперь или пятница, и ему решительно неоткуда было бы узнать, что Пятница спасен им в пятницу — это одна из многочисленных «ошибок», которые Дефо то ли допустил в спешке, то ли намеренно инкрустировал в роман, ведь ни один очевидец не может быть в полной мере точен... Сломанное время. Перед смертью школьный учительишка Вуц — протагонист известной новеллы Жан-Поля — рассматривает вещественные доказательства своей уходящей жизни, в том числе самодельные стенные часы без механизма, как бы символизирующие посмертный, выпотрошенный хронос. Мало что в жан-полевском Вуце напоминает миф, штамп, карикатуру на Робинзона, сформированную школьными иллюстрациями с бородатым мужичком в меховой хвостатой шапке, рядом с которым на фоне акварельной зелени пресмыкается условно цветнокожий Пятница; что может быть дальше от этой сдобной картинки, чем баварское рококо Жан-Поля? Но стоит прислушаться к отповеди, которую мог бы дать Вуц в ответ на сакраментальный анкетный вопрос о единственной книге, взятой на необитаемый остров. *Я не так глуп, —*

чертит на знамени Вуц, — чтобы приниматься за перо и составлять самому лучшие сочинения, если мне стоит только открыть кошелек, чтобы купить их. Но в моем кошельке нет ничего, кроме пары черных запонок от манишки и одного завалывшегося крейцера. Поэтому если мне захочется почитать что-нибудь серьезное, например по практической медицине или по истории болезней человечества, то мне остается одно: примоститься у окна и самому сочинить всю эту галиматью. К кому же мне обратиться, если мне захочется, например, узнать тайны франкмасонства? На чьи уши можно положиться более, чем на свои собственные? Я прислушиваюсь к тому, что передают мне эти уши, перечитываю франкмасонские речи, написанные мною, стараюсь проникнуть в них и в конце концов начинаю подмечать разные странности и предвижу по ним то, что грозит в будущем. И тогда необитаемый остров — это не эстетическая утопия, а всеобщий диагноз, поэтому любимые книги придется писать самостоятельно, на пальмовых листьях, овечьих шкурах, на песке, на потолке, под одеялом. Вуц подчеркивает: не переписать, а написать с чистого листа, не заглядывая в источник, да и где взять эти «источники» на необитаемом острове? Посему, вооружившись гусиным пером, он удаляется под вишневое дерево и не поднимается из-за стола, пока не закончит «Исповедь» Руссо, «Страдания юного Вертера», «Кругосветное путешествие» Кука и все прочие книги.